

Винокур Г. О. **Русский литературный язык в первой половине XVIII века** // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941—1956.  
Т. III: Литература XVIII века. Ч. 1. — 1941. — С. 51—72.

Русский литературный язык в первой половине XVIII века

- 51 -

1

Вместе со всей русской культурой на рубеже XVII—XVIII вв. стал сильно меняться и русский литературный язык. Общее значение этого переломного момента в истории русского литературного языка в общих чертах можно определить так. В до-Петровской России существовало два письменных языка, резко противопоставленных один другому по своим культурным функциям. Один, так называемый церковно-славянский язык, представлял собой ту разновидность древнерусского письменного слова, которой пользовались книжники эпохи Московского государства, претендовавшие на литературность изложения, и которая получила грамматическую обработку в руководствах по языку XVI—XVII вв. Другой, так называемый приказный язык, служил почти исключительно для деловых надобностей и представлял собой канцелярскую обработку обиходной речи с некоторыми, в общем незначительными, заимствованиями из книжной традиции. В основе этого языка, постепенно вытеснявшего собой местные разновидности деловой речи и таким образом получившего в известный момент значение языка общегосударственного, лежал московский говор XVI—XVII вв. Надо думать, что в до-Петровское время это были, собственно, не два разные *языка*, в точном смысле термина, а скорее два разные *стиля* одного языка. Вероятно, только к концу древнерусского периода, когда литературная речь в некоторых жанрах письменности стала отличаться особенной вычурностью и щегольством, «прежние оттенки слога одного и того же языка, — как писал М. И. Сухомлинов, — переродились в сознании употреблявших его как бы в два особенные языка».

Различия между обеими системами письменной речи касались как области словаря, фразеологии и общих приемов построения связной речи, так и внешнего вида грамматических форм и состава грамматических категорий. Так, например, в литературной речи этой поры в им. п. ед. ч. прилагательных м. р. преобладало окончание *-ий, -ий*, в противовес окончанию *-ой, -ей*, преобладавшему в деловой речи, например: *добрый, синий* при *доброй, синей*. Род. п. ед. ч. прилагательных м. и ср. р. в литературном языке оканчивался преимущественно на *-аго, -яго*, а в ж. р. на *-ья, -я*, например: *добраго, синяго, добрыя* и т. п., а в деловом языке соответственно на *-ово, -ево* (или *-ова, -ева*) и *оъ (-ые), -еъ, (-ие)*, например: *доброво, синево, доброп* и т. д. В литературном языке продолжали употребляться формы древнейшего периода с свистящими звуками *з, с, ц* на месте задненёбных перед *ъ* и *и*, типа *нозъ, гръси, челоуцькъхъ*, вместо которых в деловом языке обычно встречаем формы с восстановленными по грамматической аналогии задненёбными, вроде *ногъ, гръхи, челоуцькъхъ*,

- 52 -

отражающими новообразование великорусских говоров. Яркими приметами литературного языка, в отличие от делового, служат широко употребляющиеся в нем древние формы аориста и имперфекта, звательная форма, а также относительно правильно выдерживавшиеся в нем формы двойственного числа, а из синтаксических конструкций — оборот дательного самостоятельного, т. е. такие категории, которые в деловой речи или вовсе не встречаются, или встречаются в ней только в качестве застывших трафаретов в канцелярских и юридических формулах. С другой стороны, приказный язык гораздо свободнее литературного отражал грамматические процессы, происходившие в ту пору в

живых говорах Московского государства, и потому именно в памятниках приказного языка наблюдаем развитие таких форм, как им. п. мн. ч. слов м. р. на *-а* ударяемое (типа: *города, льса*), широкое употребление род. и места, падежей ед. ч. слов м. р. на *-у* (типа: *отъ берегу, на берегу*), постепенное распространение форм дат., твор. и предл. падежей мн. ч. от слов м. и ср. р. на *-амъ, -ами, -ахъ* вместо первоначальных *-омъ, -ы, ѣхъ* и т. д. Памятники приказного языка содержат также богатый материал для истории русского синтаксиса, во множестве фактов отражая различные древние стадии в развитии предложения. Ср., например, широко распространенное в актах и грамотах повторение определяемого слова в конструкции относительного подчинения, вроде: «хто в его земле в Онисимле селе и в деревнях, кои деревни истарины потягли к Онисимлю...» (1463 г.); или: «А по отписям, *каковы отписи* положил в Володимерской чети перед дьяком перед Михайлом Огарковым...» (1614 г.). Ср. паратактическое выражение условной связи между предложениями в таком тексте из розыскного дела о Берсене Беклемишеве (1525 г.): «велят мне Максима клепати; и мне его клепати ли?», что означает: «если мне велят оговорить Максима, то оговорить ли мне его?» Разумеется, очень богато отражена также в памятниках приказного языка юридическая, хозяйственная и бытовая терминология Московского государства, ср., например, различные слова для обозначения имущества и пожитков, вроде *рухлядь, собина, живот* (в церковно-славянском языке *живот* означало «жизнь», ср. в одном завещании 1566 г.: «что моего *живота* после моего *живота* останетца денег и платья и рухледи, и тот весь *живот* моей жене Омелфе») и т. п. Зато литературные тексты пестрят различными проявлениями книжного построения речи и многочисленными славянизмами в лексике и фразеологии. Следующие два образца могут послужить наглядным примером той розни, которая существовала в до-Петровское время между обеими основными разновидностями русского письменного языка:

«И потом утвердися рука его на всем Московском царстве, и нападе страх и трепет велий на вся люди, и начаша ему верно служити от мала даже и до велика. И подаде ему бог время тихо и безмятежно от всех окрестных государств, мнози же ему подручны быша, и возвыси руку его бог, яко и прежних великих государей, и наипаче. Той же царь Борис помрачися умом, отлошши велемудрый свой и многоразсудный разум и восприемши горделивое безумие, сииречь ненависть и проклятое мнение, якоже и выше о сем рехом: не усрами же ся и славна роду, но и паче в завещателном союзе дружбы имеху им, и сих не помилова, напрасно оболгати повеле, и безчестне влечаху по улицам грацким, и мучителем предает, и в заточение посылает, и смерти горкия сподобляет. От сего же ужасни быша людие царствующаго града и оскорбеша зело» (из повести Катырева-Ростовского, 1626 г.).

«Се яз Мелентей Макарьев сын порадовался есми Успения Пречистые Богородицы Кирилова монастыря у старца Леонида: поставити мне

- 53 -

Мелентию двор на монастырской земле, во Твери, на Волге на берегу, за онбары монастырскими, клетки да изба, да около двора городба, и онбаров мне Мелентию беречи монастырских; а оброку мне Мелентию давати на год полтина, да своего мне промыслу, чем яз стану промышляти, и мне давати в монастырь томъга да и монастырская служба служити, как моя братия прежние служат. А не поставлю яз Мелентей двора на монастырской земле и не учну жити, ино на мне Мелентеи по сей записи десеть рублей денег. А живучи мне Мелентию не воровата никаким воровством... [следуют имена поручителей] а учну яз воровати каким воровством, ино на нас на порутчиках пеня, что игумен с братиею пеню укажет» (из порядной грамоты 1581 г.).

Однако уже в последние десятилетия XVII в. традиционный литературный язык, овеянный атмосферой церковной культуры, оказывается все менее пригодным в качестве орудия литературного творчества, в котором начинают преобладать светские мотивы. Появление новых жанров, вроде виршей и школьной драмы, распространение переводных повестей западноевропейского происхождения и разного рода подражаний им приводит к

тому, что церковно-славянский язык в литературных произведениях конца XVII и начала XVIII в. содержит много грамматических ошибок, все чаще вступает в гротескное соединение с западноевропейскими заимствованиями, а граница, отделяющая его от языка деловых документов, становится все менее отчетливой. В чистом виде этот язык сохраняется лишь в канонических церковных книгах, и здесь он действительно становится особым *языком*, отличным от нового русского литературного языка. С другой стороны, заметно обновляется в это время и деловая письменная речь. Она наглядно отражает начинающуюся европеизацию русской научно-технической и бытовой культуры. Ранее деловая речь только в единичных случаях получала печатное выражение (например: Учение и хитрость ратного строения пехотных людей, М., 1647; Уложение 1649 г.). Теперь деловая письменность получает широкое распространение в форме многочисленных печатных пособий и руководств, представляющих собой преимущественно переводы с западноевропейских языков. Этого рода письменность создает для себя язык нового типа, сильно отличающийся от старинного языка приказов. Новый деловой язык гораздо литературнее, в нем много книжных черт и западноевропейских заимствований. Деловая письменность также становится *литературой*.

Таким образом основным событием в жизни русского литературного языка в начале XVIII в. было начавшееся разрушение прежней системы письменного двуязычия и зарождение единого национального литературного языка, пока еще, разумеется, в его первоначальных, примитивных формах. Старый приказный язык был языком не национальным, а только *государственным*. В России, как это отчетливо показано в работах Сталина по национальному вопросу, образование государства предшествовало образованию национальных связей в собственном смысле слова, но они начинают становиться исторической реальностью с Петровской эпохи. XVIII век в России и есть эпоха образования национального языка, который в своем окончательном виде сложился только в первые десятилетия XIX в. В этом сложном историческом процессе громадная роль принадлежала деловому языку Петровского времени. Но этот перелом в судьбе русского литературного языка осуществился, разумеется, не сразу и не так быстро, как аналогичные процессы в прочих областях культуры. Мы знаем, сколько тяжелых препятствий пришлось преодолевать переводчикам Петровской эпохи, приспособлявшим по мере их умения наличную традицию литературного языка для общедоступной передачи

- 54 -

западноевропейских научных и технических понятий. Относясь к своему труду, как к труду литературному, они прибегали к испытанному литературному орудью, завещанному им стариной в виде церковно-славянского языка, но, вследствие его несоответствия стоявшим перед ними задачам, оказывались вынужденными деформировать и модернизировать этот язык. Уже самый склад традиционного литературного языка делал его мало пригодным для целей популяризации, которую постоянно имел в виду главный заказчик переводов, Петр I. Этим объясняются его постоянные напоминания переводчикам о том, что переводы должны быть удобопонятны. Таково, например, распоряжение Федору Поликарпову, переводившему «Географию генеральную» В. Варения, вместо «высоких слов славенских» употребить «посольского приказу слова». Для уяснения взглядов Петра на русский язык его времени существенное значение имеет то определение, которое Петр дает этому языку в письме к переводчику Конону Зотову 24 января 1715 г., предлагая ему разыскать книги, касающиеся мореплавания, и перевести их на «славенский язык нашим штилем». Исследователи (Будде, Виноградов) не раз обращали внимание на то, что как сам Петр, так и его литературные работники называли свой язык «славенским». В таком наименовании, вероятно, сказывалась не только старая привычка, но и определенный взгляд на вещи. Эта

сторона дела хорошо выяснена П. Житецким, правильно поставившим этот вопрос в связь с общей политикой Петра в области книжной грамотности.

Житецкий правильно указал, что Петр, как организатор русской государственной жизни, сознавал нужду в таком языке, который служил бы для всего русского государства «органом правительственной власти» и «символом государственного единства». В силу этого Петр и его эпоха не могли отказаться от того «регулирующего начала речи», которое заключалось собственно не в формах церковно-славянского языка, а «в сохранении на письме этимологического состава слов по церковно-славянскому типу». Вопрос, таким образом, упирается в принципиальное значение орфографии, как основы грамотного книжного письма. Сам Петр писал так, как говорил, «без всякой орфографии», но это тем не менее не вызывало с его стороны никаких попыток реформировать орфографию, регламентированную схоластической грамматической традицией XVI—XVII вв., даже и тогда, когда это, казалось бы, было особенно удобно, например при реформе русской азбуки. Реформа кириллицы, осуществленная Петром, оставалась исключительно алфавитно-графической, но не орфографической реформой. Рукописная орфография XVII—XVIII вв. отличается крайней пестротой и дает богатый материал для суждения о живом произношении этой эпохи. Но печатный станок снимал эту пестроту. В печатных книгах орфография оставалась *правильной*, этимологической, т. е. попрежнему отвечала церковно-славянской грамматической традиции. Только в 1748 г., с запозданием почти на полвека и потому совершенно одиноко, прозвучал голос Третьяковского, пытавшегося порвать с указанной традицией и решительно приблизить письмо к живому произношению. Подобная идея не только не могла прийти в голову деятелям Петровского времени, но и, вероятно, была бы ими сознательно отвергнута. Вильгельм Лудольф, автор русской грамматики 1696 г., вышедшей в Оксфорде на латинском языке, красноречиво свидетельствует: «Большинство русских, чтобы не казаться неучами, пишут слова не так, как произносят, а так, как они должны писаться по правилам славянской грамматики, например пишут сегодня (*segodnia*), а произносят севодни (*sevodni*)». Новый книжный язык, освобождаясь от своей зависимости по отношению к церкви и приобретая, как говорит Житецкий, «великорусскую физиономию», все же должен был

- 55 -

сохранить свою «славянскую основу», т. е. внешние формы языка, его *правила*, должны были следовать традиции. Для писателей начала XVIII в. как и вообще для культурных деятелей этой эпохи, церковно-славянский язык целиком сохранял ореол языка «правильного», «грамматического», и это необходимо постоянно иметь в виду при изучении судеб литературной речи в Петровскую эпоху и даже в более позднее время.

Литераторы этой эпохи не раз заявляют о своем намерении пользоваться в своем изложении «просторечием», которое они противопоставляют «славянскому высокому диалекту». Но, как показал уже Житецкий, фактически в их письменных трудах гораздо больше второго, чем первого. Заслуживает пристального внимания тот факт, что деловой язык нового типа с самого же начала стал развиваться по пути скрещения обеих разновидностей старого письменного языка. 19 апреля 1724 г. Петр предписывал Синоду составить «краткие поученья людям» и велел эту книжку «просто написать так, чтоб и поселянин знал». Еще ранее того, в «Духовном регламенте» (1721) было сказано: «Книга исповедания православнаго немалая есть, и для того в памяти простых человек неудобь вмещаема, и писана не просторечно, и для того простым людям не вельми внятна». Соответственно этому предлагалось составить три небольшие «книжицы» популярного содержания, из которых первой явилось «Первое учение отроком», выпущенное уже за год до того (1720) Феофаном Прокоповичем. В предисловии к этой книге Феофан жалуется на то, что «словенский высокий диалект» мешал до сих пор широкому распространению закона божия и нравственности, и обещает писать «просторечием». Но на самом деле в этой книге Феофан обильно пользуется не только архаическими формами склонения (*мнози, отроцы, лестцы проклятии, людям*) и лексическими славянизмами

(млеко, брада, власы), но также, например, формами аориста (*явишася, пронесоша, случися*) и т. п., отсутствие которых в старом деловом языке, если не считать некоторых трафаретных формул, было его ярким отличием от языка книжно-литературного. Правда, материя книг, вроде упомянутой, оставалась все же священной. Но примеры подобного своеобразного «просторечия» встречаем и в книгах чисто светского содержания. Ср. заявление Поликарпова в предисловии к переводу «Географии» Варения, где то же «просторечие» выступает еще и в европеизированном виде: «Моя должность объявити, яко преводих сию [книгу] не на самый высокий славенский диалект против авторова сочинения и хранения правил грамматических, но множае гражданского посредственного употреблял наречия, охраняя сенс и речи оригинала иноязычнаго. Речения же терминальная греческая и латинская оставлях не преведена ради лучшаго в деле знания, а ина преведена объявлях, заключах в паранфеси» и т. д. Конечно, не всегда деловой язык печатных книг в начале XVIII в. был таким книжным и искусственным. Он достаточно витиеват, но более искусен, чем у Поликарпова, в «Рассуждениях» Шафирова (1722), который, например, характеризует состояние просвещения в Петровскую эпоху в следующих выражениях: «Аще обратимся к наукам другим, то хотя прежде сего кроме российского языка книг чтения и писма никто из российского народа не умел, и боле то в зазор, нежели за искусство почитано, но ныне видим и самого его величество немецким языком глаголющаго, и несколько тысящеи подданных его россииского народа, мужеска и женска полу искусных разных европейских языков, якоже латинского, греческого, французского, немецкого, италийского, англинского, и галанского, и такого притом обхождения, что непостыдно могут равняться со всеми другими европейскими народы, как в том, так и в других многих поведениях». Шафиров, как и другие писатели его

- 56 -

времени уснащает свою речь многими иностранными словами, которые тут же переводятся на русский язык, вроде: «никакой рефлексии и рассуждения не имели», «с такую аппликациею [рачением]», «ко опровержению тех калумнии и поносов», «на немецком языке штилизованы [сочинены]», «для внушения всем переложены, и дивулгованы [разглашены]» и пр. Значительно проще, но все же отличается заметной книжностью язык в переведенном Гавриилом Бужинским сочинении Пуфендорфа «Введение в историю европейскую» (1718), ср., например, такое место: «Во утверждение сего Людовик разговор (коллоквиум) хотяше имети, и сам на оное приити первее не усумнелся... И тако Едвард ниединаго же дела славно сотворивши, безчестно, гневающуся нань бургунду, в Англию возвратился». В относительно чистом виде традиция старой приказной речи, представлена в печатных «Ведомостях», но и здесь оказались неизбежными некоторые книжные черты языка и западноевропейские заимствования. Например, в № 4 «Ведомостей» за январь 1704 г. читаем: «В нынешнем же генваре месяце против 25 го числа. На Москве салдатская жена родила женска полу младенца мертва о дву главах, и те главы от другдруга отделены особь, и со всеми своими составы и чувства совершенны, а руки и ноги и все тело так, как единому человеку природно имети, и по анатомии усмотрены в нем два сердца соединены, две печени, два желудка и два горла, о чем и от ученых многие удивляются». Близко напоминает язык старую приказную речь в таких книгах, как, например, «Юности честное зеркало» (1717), но и здесь встречаем: «Не сопи егда яси», «пий и яждь, сколько тебе потребно», «в страсе содержит», «перстом в носу чистит», «мзду наемничу» и т. п. Ср. такое место: «Украшение девиц, и младых невест, также и замужних есть достохвальная фарба, или цвет, и о сем Диоген пишет: что украшение есть признак к благочестию». Таково просторечие Петровского времени, даже при сознательном к нему стремлении. Но ведь не всегда существовало самое это стремление.

2

Такое стремление, повидимому, особенно редко являлось сначала у авторов тех произведений, которые можно относить к области собственно художественной

литературы. И если, тем не менее, в подобных произведениях церковно-славянский литературный язык является деформированным или даже вовсе иногда уступает место языку с сильной бытовой окраской, то это не столько результат сознательного задания, сколько естественное следствие нового содержания, внесенного в разные жанры русской литературы новой эпохой русского культурного развития. Вместе с тем, сопоставление приведенных образцов просторечия с языком собственно литературных произведений эпохи дает возможность в некоторой степени ориентироваться в вопросе о том, что же именно понимали под «просторечием» те, кто делал его своим лозунгом. Так, например, совершенно ясно, что «просторечию» нет места даже в намерении в произведениях, относящихся к высокому, торжественному красноречию. Об этом больше всего свидетельствует *синтаксис* подобных произведений, построенный на обширных периодах и искусственной расстановке слов, изобилующий книжными оборотами, вроде дательного самостоятельного, двойного винительного, винительного с инфинитивом и т. п. Например, Гавриил Бужинский, уподобляя царевну Софию Гере, а Петра — Гераклу, в своем панегирике Петру по поводу поднесения царю вырезанного на меди плана Петербурга говорит: «Вторых [София возбудила на Петра]

- 57 -

гонителей Авессаломов, толико лютейших, елико мняху себе непобедимейших быти, и вся в руках своих содержащих, яже не на колыбель Ираклиеву, но на самые царакія нападоша палаты, настоящей везде полунощи страха и забвения, в нощи смущения и безразумного суровства, всем сберегателям аки спящим и иным разбегшимся, другим избиенным, иным к бунтовщикам приставшим». Совершенно очевидно, что «высота» этого витиеватого славословия меньше всего основана на морфологических признаках. Архаические формы склонения и спряжения здесь встречаются действительно очень часто. В сборнике проповедей Гавриила находим, например, частые случаи аориста: *нападоша, воздаде, увенча, возмогохом, восприят, взят*; имперфекта: *мняху, желаше, стеньху*; перфект со связкой во 2 л. ед. ч., равносильный аористу, вроде *создал еси* и т. п. В формах склонения находим: *еллинстии мудрецы, в христианех, очима*, по всем правилам, *преизящными подвиги и труды, о гресе, в книзе*, звательные формы, притом от чужих слов, вроде *короно* и т. п. Но все эти формы употребляются Гавриилом далеко не последовательно, в смешении с формами, нового происхождения. Так, например, встречаем у него и формы, вроде *оберегателям, бунтовщикам, градам, долгами, в долгах, трудники* (им. мн.), частое прошедшее на -л в одинаковом видовом значении с простыми прошедшими и т. п. Кроме того, как уже указано, подобные архаические формы сами по себе представляют нередкое явление и в тех произведениях, авторы которых ставят себе целью писать «просторечно». Чисто количественное различие в употреблении этих форм в «высоком» и «посредственном» наречии в лучшем случае могло иметь только побочное значение.

Другое дело синтаксический склад речи. Можно думать, что отказ от сложных и искусственных синтаксических средств традиционного схоластического витийства, пережившего в середине XVII в. новую волну подъема, для деятелей Петровского времени был одним из критериев «просторечия» в отличие от «высокого диалекта». Немалое значение в этом отношении принадлежало также, как можно думать, искусственным сложным словам и специфическим библеизмам, вроде употребляемых тем же Гавриилом Бужинским: *неудобверительнее, великознаменитый, златолучный, скимень* (львенок), *язвина* (нора) и т. п. В деловом языке, по понятным причинам, такие слова избегались. Но все же и высокий панегирический язык не уберется от действия времени в новой обстановке. Так, например, церковнославянский язык проповедей начинает пестреть западноевропейскими лексическими заимствованиями, которые несут на себе далеко не только терминологическую функцию, но также и стилистическую. Ср., например, следующее место из слова о победе у Ангута, произнесенного Гавриилом Бужинским 27 июля 1714 г.: «Но понеже в мимошедшем месяце благо-дарствующе богу триипостасному

при воспоминании Полтавской виктории благодарованной, елико по силе нашей, а не по достоинству о благодарении слышахом, ныне за благо сотворим, слышателие, паче же во всех тех баталиях подвизавшиися трудники и доблии победоносцы, егда о матери всех побед и родительнице всех торжеств, не слово, или рассуждение, но краткий дискурс в нынешний день представим». Или: «О собственных убо, частных и партикулярных врагов люблени, а не о вразех всего общества оная словеса разумети подобает». Чтобы сократить свое изложение, сошлюсь на старые интересные наблюдения К. Аксакова, касающиеся языка проповедей Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. В особенности в языке первого Аксаков констатирует «странную смесь» церковно-славянского лексического материала с «тривиальными выражениями» и иностранными словами, носящими на себе «печать яркую текущей современности». Множество иностранных слов в проповедях Феофана — факт

- 58 -

общеизвестный. Но как раз в речах этого проповедника бытовые положения и подробности частной жизни занимают такое большое место, что очень часто его язык переходит в действительное просторечие. Замечательны, кстати сказать, увещания, с которыми обращается «Духовный регламент» к не в меру патетичным ораторам этого времени: «Не надобно проповеднику шататься вельми, будто в судне гребет. Не надобно руками всплескивать, в боки упираться, смеяться, да ненадобе и рыдать, но хотя бы и возмутился дух, надобе елико мощно унимать слезы. Вся бо сия лишняя и неблагообразна суть и слышателей возмущают». Таким образом и в той области литературного языка, где традиции старины были наиболее устойчивы, к концу Петровской эпохи с исторической неизбежностью обозначились резкие и острые противоречия.

Сходные признаки перерождения старого литературного языка наблюдаются и в других областях литературы начала XVIII в., по мере того как обновлялось их содержание и Изменялись вкусы эпохи. И здесь в XVIII в. наблюдается обострение тех противоречий, которые в известной мере существовали уже и в до-Петровское время. Наиболее консервативным жанром в отношении языка среди прочих главных жанров были вирши. Это была литература специфически ученая. Авторы виршей — в большинстве случаев ученые монахи, высшие представители схоластической грамотности, заботливо соблюдающие все предписания строгого грамматического чина. Симеон Полоцкий, узаконивший силлабические вирши в русской литературе, в предисловии к «Рифмологиону» сам рассказал о том грамматическом искусстве, который он прошел, прежде чем возмозг «образная в славенском держати». Эта грамматическая выучка сказала, между прочим, в том, что в виршах конца XVII и начала XVIII в. гораздо точнее, чем в других областях художественной литературы, соблюдаются правила церковно-славянской морфологии, закрепленные тогдашней грамматической традицией. Морфологической выдержанности языка виршей при этом несколько не мешают ни украинские черты фонетики, ни отдельные, сравнительно малочисленные, лексические полонизмы и латинизмы, заносившиеся в этот язык представителями украинско-белорусской образованности и приобретающие характер некоторой традиции. Даже в таких стихотворениях, которые написаны на социально-бытовые темы или приближаются по характеру к басне, грамматические формы оставались вполне традиционными. Ср., например, в стихотворении Симеона Полоцкого «Купецство» такие формы, как *обыче*, в *купцех*, в *вещех*, на *брезе морстем*, *давый* и т. п., притом — ни одного случая обратного характера. В более или менее строгом соответствии с выдержанным употреблением церковнославянских форм находится в старых виршах и лексический состав их языка. Так, безусловным предпочтением у виршеписцев пользуются такие слова, которые были очевидными церковно-славянскими вариантами русских слов, т. е. слова без полногласия, со звуком *щ* вместо *ч* и т. п. Этому типу языка всецело еще соответствует, например, «Епиникион» Феофана Прокоповича, написанный в Киеве в 1709 г. Здесь множество украинизмов, например, неразличение *ы* и *и* (с *высоти*, *песны*), *зменник*, *поощрати* и т. п.,

но грамматические формы — все церковно-славянские: *победихом, сотре, объят* (аорист), *бляше, зваху, повергл еси, победил еси* (напомним, что в грамматиках XVI—XVII вв. формы 2 л. ед. ч. аориста заменялись описательными); *славо, студе* (зват.), *под ноже, о воех и вождех, ко врагом, своима очима, внуци* и т. п. Но более поздние вирши Феофана, относящиеся к 30-м годам, заметно уже отступают от указанной нормы. В них исчезают формы аориста и имперфекта (в известных стихотворениях Феофана этого периода встречаем только прошедшее на -л),

- 59 -

появляются формы склонения, соответствующие системе живого языка (*врагам, плодами* и т. п.) и даже слова, вроде *дураков, врать, здоры, теска*, слова с полногласием и т. п. Мало похож на язык старых виршей и язык ранних произведений Тредиаковского, относящихся к 20-м годам. Церковно-славянские формы в них относительно редки и встречаются по преимуществу в стихотворениях, в которых идет речь о важных предметах. Такова «Элегия о смерти Петра великого», в которой находим аорист (*увяде, помрачися, огорчися*), зват. формы (*увы цвете и свете*), дательный самостоятельный (*како возмогу стерпети, тебе не суцу, в слезах чтобы не кипети*), формы вроде *во градехъ* и т. п. При оценке морфологических архаизмов в стихах этого периода нужно еще считаться с практикой «поэтических вольностей», о которых ниже. С другой стороны, обращает на себя внимание пестрый лексический состав ранних стихотворений Тредиаковского, в котором на ряду с традиционными элементами и полонизмами (например, *слично, надея*) есть также областные элементы, вроде *сайдак, сипко*, и много слов западноевропейского происхождения (например, *компания, флейдузы, манер*). Характерны для индивидуального стиля Тредиаковского, с его обычным безвкусием, формы фамильярно-бытовой речи в самых неожиданных местах, как, например, *Меркура улещать, Купидушки*, в «Стихах эпиталамических».

Результаты общей эволюции видим также, например, в языке виршей Михаила Собакина, особенно тех, которые написаны тоническим стихом, уже после реформы Тредиаковского. Например, в стихотворении 1742 г. «Радость столичного града Санктпетербурга» находим: *пороги, голову, город, голос*, но: *гласов*, по всем странам (в знач. сторонам), *кричат, на заборах места нет, окны, другова*, но тут же: «взрослые не только ю, но младенцы знают». В более ранних произведениях Собакина есть еще и аорист — *показа, дадеса* и т. п. С другой стороны, в стихах Петра Буслаева (1734) современного исследователя И. Н. Розанова язык «поражает смешением церковно-славянских слов с иностранными», хотя с морфологической стороны еще многое связывает их со стариной, соблюдаемой, впрочем, далеко не всегда, как и у Собакина. Ср. в «Умозрительстве душевном» Буслаева с одной стороны: *инструменты, элементы, факалы, церковны концерты*, а с другой: *приде, возьматся, досяже, прильпе, ко ангелом*, но также, например, *унять* (не *уняти*), *крылами* и т. п. Ср. еще слова, вроде *донелиже*, а с другой стороны: «у иных чай память пропала». Не приходится уже говорить о Кантемире, вирши которого по существу были совсем новым жанром в русской литературе.

Живое общественное содержание сатир Кантемира и их художественная острота обусловили их непринужденную, бытовую, даже фамильярную фразеологию (ср. выражения, вроде *пяля глаза, голы враки, лепит горох в стену* и пр.), а также и то обстоятельство, что, как указано было С. П. Обнорским, с грамматической стороны церковно-славянское влияние сказалось на сатирах крайне слабо. Язык сатир Кантемира (но не других его стихотворных произведений) обращен в будущее в гораздо большей степени, чем любое иное литературное явление его времени. Он мог бы быть началом совершенно нового периода в истории русского литературного языка, если бы сатиры Кантемира создали какую-нибудь традицию. Но они появились в печати только в 1762 г., в эпоху, когда элементы фамильярного просторечия пришли в русскую литературу совсем иными путями, а морфологическая проблема была уже разрешена более или менее окончательно.



Своеобразную разновидность литературного языка начала XVIII в. представляет собой язык тогдашнего повествовательного жанра, именно

- 60 -

язык модной авантюрно-любовной беллетристики, повидимому, ближе всего отразившей новые вкусы европеизированной дворянской, а затем и мещанской среды. В большинстве случаев в языке этой беллетристики не только нельзя обнаружить стремления к «просторечию», но даже, наоборот, этот язык заставляет говорить об активном отталкивании от повседневного языка и о несомненно намеренном «высоком диалекте». Но только это совсем не тот высокий диалект, о котором речь шла до сих пор. В повестях высота слога уже не схоластической, а скорее салонной природы. Церковно-славянские элементы языка повестей внесены в него не ученостью и грамматической культурой их составителей, а стилистическим щегольством, желанием сделать свою речь изысканной и замысловатой. Уже одна орфография, в которой до нас дошли соответствующие тексты, свидетельствует об уровне книжной культуры в среде, где данная литература находила себе главных потребителей. В «Русских повестях XVII—XVIII вв.», изданных В. В. Сиповским, можно найти множество примеров, вроде *счелливь, обрасцы, удчивствомъ, умелениемъ, познатца, бѣзь, наперьодъ, верте* (пов.), *хкоролеве, таво* и т. п. Церковно-славянзмы в повестях однообразны и трафаретны. Одним из таких трафаретов этого вульгарно-литературного языка, как его иногда называют, были простые прошедшие, употребляемые, например, в отстоявшихся повествовательных формулах, а то и совершенно некстати, например, в прямой речи, что нарушает всякую естественность языка, потому что живые лица в обычной обстановке так говорить между собой не могли. Ср. обязательное *рече, реша*, в качестве введения к прямой речи, что встречается даже в такой безыскусственной по языку повести, как «История о Фроле Скобееве». Ср. далее начало повести о Василии Кориотском: «В Российских Европиях некоторый дворянин, имяше имя ему Иоанн», а также начало повести о купце Иоанне и девице Элеоноре: «В Новгородском уезде Российского государства, во граде Старой Русе живяше некий купец, именем Иоанн Евдокимов, имеяше жену именем Евдокию». Ср. далее в прямой речи, в повести о Василии Кориотском: «Того ради к вам *приидох* и прошу, чтоб вы меня в товарищи приняли», или: «Всех гребцов у нас побили и девиц в море побросали, мене едину в сей остров *уведоша* и держат по сие время». Любопытны также случаи вроде «*сташа во фронт*». Интересно, что некоторые повести, злоупотребляющие простыми прошедшими, как, например, повесть о Василии Кориотском, в то же время не употребляют, как правило, архаических форм склонения, что особенно наглядно подчеркивает стилистическую условность форм простых прошедших в таких текстах. К числу других трафаретных явлений этого рода относится дательный самостоятельный, отдельные выражения, вроде *семо* и *овамо*, приказные слова, вроде *аз, понеже, точию* и т. п.

Но это только одна сторона дела. Более существенным элементом своеобразного высокого слога повестей являются западноевропейские лексические заимствования, употребляемые в них в очень большом числе случаев, притом в таком деформированном виде, который говорит против книжного усвоения этих заимствований, или, во всяком случае, о состоявшемся уже их переходе из книг в живую речь, например: в *диспорате, мадел, флед* (флейта), *курузети, флаки, куранды, конпас, ария на миновет* и т. п. Дело при этом не ограничивается простым усвоением известного-количества терминов и выражений, как бы оно велико ни было. Важно, что соответствующая фразеология употребляется с намерением придать всему рассказу и собственно языку изысканно-галантный тон, т. е. участвует в самом стилистическом замысле повествования. Это сказывается в причудливой витиеватости эпизодов, вроде следующего: «Дивлюся вам,

- 61 -

государыня моя, что медикаментов не употребляешь, авнуренней болезни так искусна исцеляти, якоже свидетельствуюс, что ниподсолнцом неимеется такой дохтурь, никакими

медикаменты возмозль бы такую неисцелимую болезн так скоро сокрушит, якоже ты сомною воеднн мамент часа уллучила!» Смешение обращений на *ты* и на *вы*, отразившееся в этой выписке, обычно для петровского и даже послепетровского галантного быта. Ср. еще в «Гисгории королевича Архилабона» (1750): «Госпожа Афродита! Моя несносность отгорячеи ктебе любви недала болше скрывать мое всовести повас мучение». Ср. еще в той же повести письмо, будто прямо списанное из «Прикладов, како пишутся комплименты разные»: «Милостивейший государь королевичь, мой государь король ливкус мною вашему величеству объявляет дружество ипочтение, прося усердно, чтоб вы своим присутствием въего дворе одолжили; самбы его величество, слышав персону вашего высочества всвоем владений, встрече собственною персоноюжь показал, какое он вашим меритам сильнейшее имеет почтение» и т. д. Ср. в «Гистории о гишпанском шляхтиче Долторне», хронологически более старой и написанной очень книжно: «И как пришел день обручения, о чем слышит и Долторн, и не хотел печали своя и никому открыть. Забежал на верх полат под кровлю и пал яко мертв, приносил единой кровле свое жалостное рыдание, почем обрел ярко изумненный некую старую цытру, схватил оную, вбежал в портомент и просил волнодомца, чтоб позволил ево на той цытре у окна сидя играть, вспаметовав с королевною Элеонорою положенные марши». Возникающая на почве этого стиля хаотическая смесь разнородных элементов языка могла бы быть иллюстрирована множеством примеров. Надо еще добавить, что в этом отношении с повестями сходствует любовная лирика мещанского стиля начала XVIII в. Материалы и наблюдения В. Н. Перетца, Л. Н. Майкова, В. В. Виноградова, показывают, что европейское влияние в языке любовной литературы этого времени отразилось не только в усвоении терминов, выражений и оборотов речи, но также и в том, что своими средствами авторы данных произведений создавали фразеологию, соответствующую их галантному содержанию европейского типа. Существенно подчеркнуть, что материалом для такой фразеологии часто служили церковно-славянские слова и формы, например: «Радость моя паче меры, утеха драгая», но тут же *краля, бралиант, лапушка* и т. п.

Крайней пестротой и неупорядоченностью характеризуется также язык драмы начала XVIII в., в особенности — прозаической. Пестрота драматического языка с самого же начала была обусловлена следующими двумя причинами. Во-первых, большая часть репертуара XVII—XVIII вв. — это переводы или переделки соответствующих западных образцов. Отсюда множество иноязычных терминов, а кроме того и кальки, в текстах, в основе своей церковно-славянских. Например, в «Юдифи» находим полонизмы, вроде *коруна, клейноты* (с нем.), *монарха* (им. ед.), откуда и звательный *монархо*. Ср. там же отмеченные акад. Тихонравовым германизмы, вроде: *живи благо* (*lebe wohl*), *безпохвальный народ* (*unlöbliches Volk*), *отомщуся над сими псами* и т. п. Ср. в шутовской комедии Петровского времени слова и выражения, вроде: «ты меня учинишь корнутом» (рогоносцем), «война есть всех справедливых кавалеров стихия», «хотел я охотно, чтоб ты, мой господине, архитектором или строителем брака моего был» и т. п. Во-вторых, в прозаической драме язык хотя бы некоторых персонажей, например комических, в какой-то мере непременно должен отражать живую речь, пусть и не реальную, а стилизованную. Это порождает грубое, часто звучащее почти пародийно, соединение книжных и обиходно-фамильярных элементов речи, ярко проявляющееся, например, в

- 62 -

вульгаризмах или бытовых словах, имеющих архаическую грамматическую форму, и т. п. явлениях. Например, в «Юдифи»: «Что ты, собако, еще глаголеши?» Или: «Аз ти пару колбас ужарити велю». Ср. в «Принце Пикель-Гяринг»: «Когда ты видал лисиц в карфтанных станех?» Ср. в драме «Сципио африкан»: «Кто тебе велел твоим черным свинячьим рылом белую, подобием алабастру, Софонизбу лобзати?» Большой интерес в этом отношении представляет упомянутая шутовская комедия, в которой действующие лица сами называют свой язык «славенским» и в которой в то же время книжная и обиходная стихии языка перемешаны причудливым образом. Ошибочно все же было бы

видеть в драмах этого времени подлинное изображение современной живой речи. Вульгаризмы комических персонажей в значительной степени обусловлены их театральным назначением. Зато очень часто действующие лица тогдашней драмы говорят неестественно претенциозным языком, употребляя давно исчезнувшие в живой речи формы, щеголяя модными словами и книжными оборотами речи. Вот речь Алоизии из драмы «Честный изменник»: «О дражайший супруге! Аз есмь жива и мертва: жива есмь, зане вы мне животом подарили; а мертва есмь для того, чтоб я сама себя от милости вашей отлучила». Вот речь капитана из той же драмы: «Приказ имеем маркиза или жива, или мертва привести, а зане ведаем, что дорогу свою сюда емлет, того ради стань всякий на своем месте и держи ружье свое готово». Вот речь гишпанца из шутовской комедии: «Умолчевая о всех протчих великих и благознаменитых пременениях, которые от начала света в королевствах, в землях и в городах случишася, вспомяну аз ныне токмо о своем любезном отечестве, Гишпании». Ср. бесконечное число редких, а также искусственных, сочиненных для перевода, отглагольных существительных на *-ние*, например в «Пикель-Гяринге»: *издевание, притворение* (притворство), *злополучение, прогневание, нещевание, благоподание, завтраkanie, услугование, помирение*; в «Честном изменнике»: *вонение, помешание* и т.д. Ср. постоянные *аз, понеже, аки, аще*, даже в шутовской комедии; в той же комедии выражения, вроде «*празнее дворовое житие*», *стрежения, обещаает*, но тут же *за потеху места* и т. п. Драматический жанр, может быть, в более сильной степени, чем остальная литература, отразил в своем языке глубокий культурный перелом эпохи. Несоответствие наличных средств литературного языка новым требованиям обнаруживается здесь с полной наглядностью. Но это скрещение разных стилей прежней письменной речи, в разных формах, но с общим схожим результатом, осуществлявшееся в различных отделах литературы начала XVIII в., было только первым шагом в процессе образования общенационального литературного языка и еще не удовлетворяло само по себе тех требований по отношению к языку, которые возникали со стороны литературы в процессе ее собственного развития.

3

В течение 20-х и 30-х годов XVIII в. развитие старых литературных жанров, унаследованных новой эпохой от предшествующего столетия, прекращается. Эти жанры или отмирают вообще, или переходят в лубок и соприкасаются с фольклором. Книжная литература переживает недолгий, но в высшей степени своеобразный период поисков и попыток, который явился свидетелем того, что для русской литературы настала уже пора дать свой положительный ответ на вызов, брошенный всей русской культуре преобразованиями Петровского времени. Окончательным результатом этих поисков явилась литература русского классицизма. Указанный

- 63 -

путь развития русской литературы в эти годы отразился соответствующими явлениями и в жизни русского литературного языка.

Со всей остротой перед представителями передового литературного сознания встает вопрос о том, каким языком следует писать литературные произведения, порожденные уже состоявшейся, хотя и не пустившей глубоких корней в народе, европеизацией русской литературы. Одним из наиболее выразительных документов этой критической минуты в истории русского литературного языка является известное предисловие Третьяковского к «Езде в остров Любви» (1730). Здесь Третьяковский просит доброжелательного читателя не погневаться за то, что он свою книжку «неславенским языком перевел, но почти самым простым русским словом, то есть каковым мы меж собой говорим». Три основания, по словам Третьяковского, руководили им в решении отказаться от традиционного и хорошо ему известного литературного языка: во-первых, это язык церковный, в светской книге неуместный; во-вторых, он стал «очень темен» и многие его не понимают; в-третьих, говорит Третьяковский, «язык славенской ныне жесток моим ушам слышится», т. е. не удовлетворяет писателя и с чисто эстетической стороны. Но недаром Третьяковский

считает нужным тут же оговориться: «Ежели вам, *доброжелательный читателю*, покажется, что я еще здесь в свойство нашего природного языка не уметил, то хотя могу толко похвалиться, что все мое хотение имел, дабы то учинить; а коли же не учинил, то бессилие меня к тому не допустило, и сего, видится мне, довольно есть к моему оправданию».

Здесь слышится попытка оправдать уже осознанную личную неудачу. И действительно, язык книги Третьяковского очень далек от простого русского слова и своими запутанными, тяжеловесными конструкциями, и книжно-чиновничьей лексикой, и даже отдельными частностями морфологической стороны речи. Достаточно хотя бы такого примера: «Однако я уповаю что сие мне имеет быть к великому моему утешению, ежели я учиню вам наилучшему от моих друзей ведение о моих печалех, и о моих веселиях».

На пути к созданию нового литературного языка стояла прежде всего *морфологическая* проблема. По разным основаниям можно думать, что в области морфологии граница между «славенским» языком и «простым русским» обнаруживалась нагляднее всего. Простые прошедшие времена, окончания вроде *-ѣхъ* в предложн. п. мн. ч., или *-омъ* в дат. мн. м. и ср. родов, формы им. п. ед. ч. причастий м. р. без суффиксального звука *щ* в наст. вр. и звука *ш* в прош. вр., — типа *даяй*, *давий* и т. п., для русского человека первой половины XVIII в. были наделены гораздо более сильно экспрессией старины и церковности, чем церковно-славянские слова, из которых многие стали уже вполне привычными и, главное, могли даже не иметь своих русских эквивалентов в бытовом языке. Вовсе не случайным, поэтому, является следующее интересное утверждение, содержащееся в русской грамматике, приложенной к немецко-латинско-русскому словарю Вейссмана 1731 г.: «Ныне всякий славянизм, *особливо в склонениях*, изгоняется из русского языка». Так и Третьяковский в своем трактате об орфографии 1747 г. считает непозволительным, когда пишут: «*по торгомъ і рынокъ, въ рядѣхъ і на площадѣхъ*», вместо «*по торгамъ і рынкамъ, въ рядахъ і на площадяхъ*». Иронизируя по поводу того, что церковно-славянская грамматика чисто графически, при помощи различия букв *о* и *ѡ* различает твор. п. ед. ч. слов м. р. (*человѣкомъ*) от дат. п. мн. ч. (*человѣкомъ*), Третьяковский пишет: «Но сїи дательныі точно славенскїи, а мы і нынѣ проішносїмъ і пишемъ чресъ (а) так: *человѣкамъ*». Нет уже совершенно подобных форм в «Российской

- 64 -

грамматике» Ломоносова. С другой стороны, в запасе средств живого русского языка были такие формы, которые, совпадая вполне с церковно-славянскими и нисколько потому не противореча представлению о «славеноком» книжном языке, имели при себе противоречившие этому представлению варианты, вроде род. ед. на *-у* в словах мужского рода, вроде формы *сѣлы* три *сѣла* и т. п. Вполне понятно, что такие варианты, несмотря на их широкое распространение в письменном языке XVIII в., осуждались теоретиками, хотя и продолжали удерживаться на практике. Так, Третьяковский жестоко нападает на Сумарокова за то, что тот пишет *сѣлы*, а не *сѣла*. По мнению Третьяковского, писать *по торгомъ і рынокъ* так же не хорошо, как писать *прїмѣчаніевъ, рассуждени* вместо *прїмѣчаній, рассужденія*. Однако существовало и еще одно специальное условие, придававшее большое значение именно морфологическому вопросу при выработке основ нового литературного языка во второй половине XVIII в. Это условие заключается в том преимущественном значении, которое принадлежало стихотворной литературе в формировании всего литературного стиля этого времени. Мы имеем дело с эпохой кризиса русского стихосложения. Реформа стихосложения, начатая Третьяковским и оправданная блестящими опытами Ломоносова, очень остро ставила вопрос просто об *уменьши* писать стихи, т. е. подчинять требованиям метрики грамматически оформленное слово. Поэтому для стихотворцев того времени громадное практическое значение приобретают всякого рода *неравносложные* морфологические варианты, предоставлявшие возможность известного выбора языкового материала в соответствии с требованиями стиха. Попытка приспособить формы русского языка к требованиям стихосложения с тем, чтобы

облегчить стихотворную практику и вместе с тем удержать ее в рамках «природного» русского языка, отразилась, между прочим, в теории так называемых поэтических вольностей, изложенной Третьяковским в его «Новом и кратком способе сложения российских стихов» (1735), в главе «О вольности в сложении стиха употребляемой». «Я разумею чрез вольность в стихе, — пишет здесь Третьяковский, — которая у латин называется *licentia*, а у французов *licence*, некоторые слова, которые можно в стихе токмо положить, а не в прозе. И хотя российский стих мало таких вольностей имеет; однако надобно из них некоторыя главныя здесь объявить». Далее следуют 14 пунктов вольностей. Здесь, например, поэту разрешается по усмотрению пользоваться окончаниями *-ши* и *шь* во 2 л. ед. ч. наст. вр., окончаниями *-ти* и *ть* в инфинитиве, окончаниями *-ою* и *-ой* в твор. ед. сущ. и. прил. ж. р., формами *меня* и *мя*, *тебя* и *тя*, окончаниями *-ие* и *ье* в соответствующих словах среднего рода, далее такими вариантами, как *вспою* при *воспою*, *счиняю* при *сочиняю* и т. п. Заслуживает отдельного упоминания пункт VIII, в котором говорится, что звательные падежи, совпадающие в русском языке по форме с именительными, в стихах иногда могут «образом славянским кончиться», например, вместо *Филот* можно сказать *Филоте*. Этот пример непосредственно отражает связь проблемы стихосложения с проблемой размежевания русской и церковно-славянской грамматической системы. В одном пункте (XIII) затронут и синтаксический вопрос, именно здесь разрешается употреблять винительный падеж при отрицании вместо преобладающего в таких случаях родительного. В двух пунктах речь идет о лексике. В пункте девятом говорится о возможности употребления в стихах слов, вроде: *рыцарь*, *ратоборец*, *рать*, *витязь*, *всадник*, *богатырь*, «ныне в прозе не употребляемых»; в пункте XIV говорится о возможности пользоваться вариантами типа *берегу* — *брегу*, что, конечно, снова связано с техникой стихосложения. Очень важной является здесь следующая оговорка

- 65 -

Третьяковского: «Вольности вообще таковой надлежит быть, чтоб речение по вольности положенное, весьма распознать было можно, что оно прямое российское, и еще так, чтоб оно несколько и употребительное было». Следовательно, в слове *брегу* нет ничего противоречащего представлению о «прямом российском языке», т. е. разграничение русских и церковно-славянских лексических вариантов подобного рода представлялось делом не столь существенным, а может быть и не нужным. Легко видеть, что такие славянизмы, как, например, с *гладу* у Кантемира (сатира V, 559), объясняются не чем иным, как требованиями метрики. Соответствующие параграфы трактата Кантемира 1742 г. — «Письмо Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских» — во многом совпадают с изложенной теорией поэтических вольностей Третьяковского. В пятой главе этого трактата, озаглавленной «О вольностях в мере стихов», Кантемир спрашивает: «для чего вольности нужны?» и отвечает, что когда нужно составлять «порядочные» стихи, то «трудность немалая встречается так в соглашении здраваго смысла с рифмою, как и в учреждении слогов». Очень точно далее формулируется общий закон «вольностей»: «Все сокращения речей, — читаем в § 69, — которые славенской язык узаконяет, можно по нужде смело принять в стихах русских; так например, изрядно употребляется *век*, *человек*, *чист*, *сладк*, вместо *веков*, *человеков*, *чистый*, *сладкий*». Обращает здесь на себя внимание допускаемая искусственная форма *сладк*. Такие формы иногда встречаются в поэзии XVIII в. Например, у Третьяковского: «*Красн* бы ты была цвет из всех краснейших. *Честн* бы ты была цвет из всех честнейших» (Ода в похвалу цветцу Розе). Ср. у Державина в «Осени во время осады Очакова» «*То черн*, *то бледн*, *то рдян Эвксин*». Интересно, что в число вольностей Кантемир включает и параллелью окончаний *-ами* и *-ы* в твор. мн. м. и ср. р. Третьяковский этого вопроса не упоминает, но в собственных стихах еще пользуется формой на *-ы*, например: «Любовь правит всеми гражданы» (Стихи о силе любви); «Российски небеса с светилы» (Ода 1742 г.).

Наблюдения над самими текстами 1730-х и 1740-х годов позволяют несколько уточнить границы морфологических вольностей, практически употреблявшихся в стихотворной литературе того времени. Одной из важнейших вольностей этого рода является так называемое «усечение» прилагательных и причастий, о котором Третьяковский глухо говорит только следующее: «Не для чего, кажется, упоминать о прилагательных сокращенных, которые понеже и в прозе часто употребляются, то в стихах могут употреблены быть, ежели надобно будет, и чаще». Действительно, соответствующие формы встречаются иногда и в прозе, особенно торжественной (они есть еще в «Путешествии» Радищева), но особенно охотно культивировала их, как специальную принадлежность стихотворного слога, поэзия XVIII в. Теоретики XVIII в. отождествляли эти формы с нечленными (краткими) формами прилагательного и причастия живого языка, а их атрибутивное употребление считали принадлежностью «славянского» языка. Но на самом деле «усечения», вопрос о происхождении которых должен быть исследован отдельно, по своему значению и роли в предложении совпадают не с нечленными, а с членными (полными) формами прилагательного и должны рассматриваться как своеобразный их морфологический вариант. «Усечения» не имеют своего особого полного склонения и употребляются лишь в тех падежах, где они слогом короче членных форм, например невозможен поэтому усеченный предл. ед. м. р. Они образуются не только от качественных, но и от относительных прилагательных, в том числе и субстантивированных, они не подчиняются общим законам ударения, действующим в пределах нечленных форм, они

- 66 -

сохраняют в причастиях страд. залога прош. вр. два *n* (-*нн*) и т. п. Вот несколько примеров «усечений» из Третьяковского: *всех радостей дом и сладка покоя; греческа сестра моя; все животны рыщут; дни нам нада красны, приятны и ясны: на престол седша увенчанна*. Отмечу еще, что в изложенных рассуждениях о поэтических вольностях не упоминается широко распространенная, не только в стихах, но и в прозе, форма род. ед. прил. и местоим. ж. рода на *-ья, ия*, ср. в упоминавшемся предисловии к «Езде в остров Любви»: «сия книга есть сладкая любви». Можно думать, что эта форма в то время представлялась еще не вольностью, а нормальной принадлежностью литературного языка, несмотря на ее церковно-славянское происхождение. Не случайно, что эта форма значится в парадигмах «Российской грамматики» Ломоносова. Основной исторический смысл явления «вольностей» заключается в том, что в нем обнаружилось серьезное противоречие между процессом развития общенационального языка и интересами стихотворной литературы: ради этих интересов писатели, стремившиеся полностью освободить литературу от церковнославянского языка, вопреки своим собственным стремлениям, удерживали в стихотворном языке церковно-славянские формы.

В течение 1730-х — 1740-х годов морфологическая проблема была, в общем, разрешена. Это не значит, что в морфологическом отношении; русский литературный язык с тех пор стал совершенно единообразным. Борьба между литературно-правильными, не противоречащими грамматической традиции, и живыми формами устной речи продолжалась в литературном языке еще долгое время и после указанной даты. Но пути этой борьбы определились в общих чертах еще в первой половине XVIII в., причем тогда же определилась и судьба морфологических церковно-славянизмов в русском литературном языке. Обратимся теперь к другой важнейшей проблеме, связанной с развитием литературного языка в это время, к проблеме *терминологической*.

Обновление и обогащение русской специальной и отчасти бытовой терминологии в начале XVIII в. давно уже привлекли внимание исследователей, и в этом отношении собран уже довольно богатый материал, правда, недостаточно глубоко пока освещенный. Отсылая читателей к этому материалу, остановлюсь здесь лишь на проблеме научно-философской, вообще отвлеченно-книжной терминологии, развитие которой ближайшим образом связано с развитием новой русской литературы. В этом отношении представляют

особый интерес неизученные до сих пор терминологические опыты Кантемира, связанные с его различными прозаическими переводами. Усвоение иноязычной терминологии возможно двоякое: заимствуется или самое слово, или же только его значение. В последнем случае дело может быть решено также двояким способом: заимствованное значение прикрепляется к уже существующему и фактически употребляющемуся слову, как его дополнительный смысловой оттенок (это то, что можно назвать семантической калькой, например *трогать* в смысле приводить в душевное волнение, в соответствии с фр. *toucher*; уже Сумароков в своем ответе на критику Третьяковского по поводу выражения *тронуть сердце* заявляет, что «так говорит весь свет»); или же для этого нового значения изобретается новое слово из наличного словообразовательного материала, например, путем буквального перевода отдельных морфем, из которых состоит соответствующее иноязычное слово (так называемая морфологическая калька, например введенное Карамзиным *сосредоточить*, в соответствии с фр. *concentrer*). В разных исторических условиях каждый из этих способов имеет разное общественное и культурное значение. Например, искусственные, безобразные кальки, которыми отсталые

- 67 -

литературные круги начала XIX в. пытались заменить ходячие иноязычные термины, были безусловно явлением реакционным. Надворный советник Михайло Карлевич, издатель книги «Приступ к ежемесячному изданию под названием любитель отечества (отчелюбец)» (СПб., 1816) хотел, например, заменить слово *медицина* словом *лечезнание*, слово *физика* словом *телообразие*, слово *математика* словом *сомерочетие*, слово *химия* словом *споятело* (?), слово *музей* словом *храновид* и т. п. Это была своеобразная и неумная форма протеста против глубокой европеизации русской культуры и русского языка, к тому времени ставшей уже совершившимся фактом. Другой смысл имели сходного рода опыты в эпоху зарождения русского литературного языка, в первой половине XVIII в. Их главное значение в это время состояло в том, что они явились практической проверкой того, в какой мере русский язык способен обслужить новые терминологические потребности при помощи своего собственного материала и в какой мере вообще следует заменять своими эквивалентами элементы международной терминологии. Не говорю уже об их значении, как сдерживающего начала по отношению к болезненным крайностям тогдашней моды на все европейское. И вот, для того общего направления, по которому развивался русский литературный язык, чрезвычайно важно, что в огромном большинстве случаев западноевропейские слова и выражения калькировались русскими писателями при помощи словообразовательных средств или просто готовых слов церковно-славянского языка. Когда в 1752 г. у Мюллера возникли сомнения относительно допустимости ряда терминов, придуманных Третьяковским, тот отвечал с недвусмысленной ясностью: «Правда, может г. ассесор сомневаться о терминах, как человек чужестранный; но оныи термины подтверждаются все книгами нашими церковными, из которых я оныи взял».

Совершенно независимо от того, насколько удачными оказывались те или иные частные опыты этого рода на практике и как они фактически влияли на словарный состав русского литературного языка, нельзя не отметить, что самое намерение наших первых писателей научиться передавать иностранные понятия средствами русского языка было проявлением их горячей веры в будущее русского языка. «Прекрасный наш язык способен ко всему» — писал Сумароков в 1747 г. Именно этими свойствами отмечены, в частности, упомянутые опыты Кантемира. В предисловии к своему переводу 1729 г. «Таблица Кевика философа или изображение жития человеческого», Кантемир говорит: «Я нарочно прилежал сколько можно писать простее, чтобы всем вразумительно». Этого Кантемир, между прочим, пытается достичь тем, что после каждого почти употребленного им иноязычного термина он ставит в скобках его русский эквивалент, например: «*глобус* (*шар*), *фортуна* (*щастье*)», или наоборот: «*разум* (в французском *génie*, что инако по-русски сказать не можно)». В своем нашумевшем переводе «Разговоров о множестве

миров» Фонтенеля (1730) Кантемир в предисловии сообщает: «Приложил я к ней [книжке] краткие примечания, для изъяснения так чужестранных слов, которые и не хотя принужден был употребить, своих равносильных не имея, как и для русских, употребленных в ином разумении, нежели обыкновенно чинится». Под словами, употребленными «в ином разумении», Кантемир понимает свои многочисленные пробы применить способ кальки в тексте перевода. Например, в тексте перевода читаем: «Мне захотелось писать о философии образом некаким философским, тщался ея привести в такую меру, чтоб была не весьма жеска для всех общества людей, ни гораздо шутлива для ученых». К слову *жеска* сделано примечание: «По-французски в оригинале стоит *sèche*, что в сем месте значит свойство

- 68 -

неприятное, не дающее никакой забавы». Сейчас мы в этом смысле употребляем слово *сухой*, точно совпадающее с французским. К слову *идея* Кантемир в примечании говорит: «Я бы *идею* назвал по-русски *понятием*». К слову *система*: «по-русски назвать бы можно *состав* или *составление*». К слову *противоположение*: «чужестранным словом мы обыкновеннее *объекцією* называем». К слову *украшения*, встречающемуся при описании театра: «чужестранным словом *декорации* называется все то, что в опере и комедиях служит для украшения феатра». К слову *акция*: «Продажа публичная, в которой тот купец, кто больше дает. *Вязка* по-русски». К слову *предсуждение*: «*Prejugé*, значит мнение предъидущее о каком деле, которое столько в уме нашем утвердилось, что не допускает нас беспристрастно о том рассуждать». К слову *плотность*: «*Solidité*. В других местах я тож изобразил речью *твердости*». Особенно интересно примечание к слову *вихрь*, примененному для передачи французского *tourbillons*, со ссылкой на то, что такой перевод был уже применен в трудах Академии Наук, причем особо оговаривается, что это слово в таком значении «вновь в российском языке введено». Можно согласиться с мнением биографа Кантемира, В. Я. Стоюнина, что перевод «Разговоров» отражает начальную стадию в развитии русского литературно-философского языка. С опытами Кантемира могут быть поставлены в связь аналогичные попытки Тредиаковского, относящиеся к несколько более позднему времени. Ср., например, его «Слово о премудрости, благоразумии и добродетели», опубликованное в 1752 г. и давно уже обратившее на себя внимание Буслаева. Большой интерес в данном отношении представляет также перевод книги А. Делейера «*Analyse de la philosophie du Chancelier François Bacon*», выпущенный Тредиаковским в 1760 г. и недавно обследованный с точки зрения терминологии И. В. Шала.

Значение терминологической работы первой половины XVIII в. не только, и даже не столько, реальное, сколько принципиальное. Результаты этой работы, во-первых, вряд ли были обширны, а во-вторых, не всегда оказывались вполне пригодными как по своей неуклюжести, так и по неполному соответствию с содержанием передаваемых понятий. Но и более удачливые преемники Кантемира и Тредиаковского, как, например, в конце века Карамзин, в существенных чертах следовали их методу в освоении западноевропейской терминологии на русской почве. Худо или хорошо, но Кантемир и Тредиаковский сумели практически обслужить реальные потребности современной им теоретической прозы, которой принадлежало такое большое значение в истории русского просвещения.

4

Между тем, в начале сороковых годов XVIII в. в развитии русской литературы обозначился важный переворот, заново поставивший вопрос о литературном языке и придавший ему совершенно новое значение. Это был поворот к тому иерархическому распределению различных литературных жанров, которое является основной чертой литературного развития классицизма во вторую половину XVIII в. и которое на первых порах сказалось в обособлении жанров высокой поэзии, как господствующих. В течение предшествующего времени, в 20-х и 30-х годах XVIII в., выработывался общий тип



литературного языка и отбирались материальные средства, которыми этот язык должен был располагать. Здесь наметилось разграничение церковно-славянских и русских грамматических форм, а также общее направление терминологической обработки языка. Теперь наступила очередь для постановки более глубоких вопросов, касающихся судьбы литературного языка, как органа новой литературы и ее

- 69 -

отдельных областей, т. е. прежде всего вопроса о *стилистическом применении* наличных средств языка, отчасти уже отобранных предшествующим литературным развитием, для нужд разных видов литературного творчества. Решение этого вопроса, как теоретическое, так в значительной мере, в особенности в применении к высокому жанру, и практическое, было дано Ломоносовым. Оно стало впоследствии одним из краеугольных камней литературной теории классицизма. Но Ломоносов действовал не на пустом месте, и у него были предшественники.

Уже тогда, когда Третьяковский в предисловии к «Езде в остров Любви» заявлял, что он переводил свою книгу почти самым простым русским словом, т. е. «каковым мы меж собой говорим», он не мог не задумываться над вопросом о том, что означает в данной связи слово «мы». Нет сомнения, что в эти годы обиходная речь русского общества была уже в известной мере дифференцирована. Обиходный язык придворных кругов и тогдашней передовой интеллигенции должен был заметно отличаться от языка крестьянства, но также и от языка чиновничества и мещанства, как язык более книжный, облагороженный, искусный. «Мы» Третьяковского это, несомненно, та «изрядная компания», «щеголевитости речений» которой, по словам Пушкина, Третьяковский советовал следовать Ломоносову. Это общество избранное, высшее, к которому Третьяковский естественно причислял и себя, конечно не по своему социальному положению, а по праву своей учености и культурности. Именно так следует понимать смысл известной тирады из речи Третьяковского в Российском собрании 1735 г., в которой культурная миссия двора Анны Иоанновны обрисована в чертах мало реальных, но подсказанных аналогией с Версалем: «Украсит его [язык] в нас двор ее величества в слове учтивейший и великолепнейший богатством и сиянием. Научат нас искусно им говорить и писать благоразумнейший ее министры, и премудры священноначальники... Научит нас и знатнейшее и искуснейшее благородных сословие. Утвердят оный нам и собственное о нем рассуждение, и воспрियाтое употребление от всех разумных». Центральное и практическое значение здесь несомненно принадлежит «воспрियाтому от всех разумных употреблению», т. е. употреблению не всякому, а культурно оправданному, поставленному под контроль разума, учености и вкуса. Вполне гармонирует с этим заявление Третьяковского в его «Разговоре об орфографии» 1748 г.: «Разве все равно, что говорить на час, и ярлык какойнибудь написать, то и книгу сочинить, или какую речь». И еще: «И понеже мужицкий и гражданский язык некоторый также мною одним употреблением неправо называют; то я объявляю, что то токмо употребление, которое у большия и искуснейшия части людей, есть точно мною рожденное; а подлое, которое не токмо меня, но и имени моего не разумеет, есть не употребление, но заблуждение, которому родный отец есть незнание». Когда в 1750 г. в своем известном памфлете против Сумарокова Третьяковский, осуждая его за формы типа «селы», иронически писал: «У автора и сельское употребление есть правильное и красное: его жерновы, по присловию, толь добры, что все мелют», то он и здесь оставался верным себе, последовательно осуждая употребление «подлое» и «площадное». Вот почему и в орфографии, отстаивая фонетический принцип (писать «по звонам»), Третьяковский даже не пытается подчинить этому принципу вокализм: аканье, произношение звука о на месте старого ударяемого е не перед мягкими (типа *сѣла*, или, как тогда пытались писать, *сіола*), — все это для Третьяковского употребление низкое, не искусное.

Но литературные события, ярким историческим символом которых является «Ода на взятие Хотина», присланная Ломоносовым в конце

- 70 -

1739 или в начале 1740 г. в Петербург из Германии и немедленно послужившая образцом для подражаний, сделали необходимой более глубокую и новую дифференциацию понятия «употребление». Ода нового типа, как одно из высших воплощений высокой поэзии, не могла довольствоваться общим, хотя бы и «разумным», употреблением. Она требовала в чисто практическом смысле известной модификации общеупотребительного языка, именно она требовала языка *украшенного* и приподнятого. *Стиль* оды мог быть различный, он мог отличаться большей или меньшей степенью гиперболизма в образах, большей или меньшей сложностью фигур. Все это мы и наблюдаем потом в одах второй половины XVIII в. Но *язык* оды (конечно, не шутовой), во всяком случае, не мог совпадать с языком обычным, повседневным. Нет поэтому ничего более естественного, чем тот факт, что первые же русские торжественные оды, еще до всяких теорий, появившихся уже потом, как известное обобщение практики, обнаруживают тяготение к славянизмам, как к такому источнику украшенной речи, обращение к которому напрашивалось само собой. Доказывая, что русские стихи, в отличие от французских, могут быть хороши и без рифм, Кантемир в 1742 г. писал (Письмо Харитона Макентина): «Язык французский не имеет стихотворного наречия: те же речи в стихах и в простосложном сочинении принужден он употреблять... Наш язык, напротив, изрядно от славенского занимает отменные слова, чтоб отдалиться в стихотворстве от обыкновенного простаго слога и укрепить тем стихи свои». Вполне закономерно, поэтому, и Третьяковский в своем памфлете против Сумарокова заявляет: «Помнит ли почтенный автор, что он оду сочинил, то есть самый высокий род стихотворения? Но положим, что он в твердой был памяти, то для чего ж не старался он в выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей, она совсем от тех удаляется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чего б ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*?» Здесь нет никакого противоречия с программой «простого русского слова», заявленной Третьяковским в предисловии к «Езде в остров Любви»: новые условия развития литературы порождают новое отношение к языку и новые способы его применения. Там шла речь о романе, — здесь речь идет об оде. В этом свете нужно понимать и полемическое замечание Сумарокова о повороте Третьяковского в более позднюю пору его деятельности к «славенщизне», которую он сам в молодости осуждал, замечание, некритически усвоенное и выдаваемое за чистую монету многими исследователями. Вообще следует сказать, что развитие литературного языка должно рассматриваться в самой тесной зависимости от развития самой литературы. Последняя есть та ближайшая среда, в которой совершается опосредствование общих исторических процессов в применении к языку, как орудию литературы. Убеждения же и вкусы самого писателя в области языка, его склонность к тем или иным «принципам», сами по себе, вне историко-литературного контекста, не имеют никакого значения.

Итак, новая поэтическая практика, нашедшая свое выражение в «Оде на взятие Хотина», сразу же породила новое понимание проблемы языка, как литературного, орудия. Из чего же состояла сама эта практика? Язык оды Ломоносова это — русский язык своего времени, отраженный в призме разумного и искусного употребления (что еще не означает, впрочем, полной свободы от диалектизмов), но язык, во-первых, *стихотворный*, т. е. с «вольностями», а во-вторых, *украшенный*, т. е. уснащенный известной дозой славянизмов в лексике и фразеологии. В оде Ломоносова немало морфологических архаизмов и условностей. Например, инфинитив на *-ти* неударяемое: *покрыти*, *склонити*, но вместе с тем, например,

- 71 -

*избежать*: далее случаи, вроде *востока*, много усеченных прилагательных и причастий, например: *лавровы* вьются там венцы, *на долгу* тень, *всходящу* денницу и т. п. К этому

роду условностей относится, конечно, и *морь* (род. мн.). Все эти условности для литературного сознания эпохи уже не были собственно «славянизмами», а сверх того их не следует относить непременно за счет высокого слога. В тех или иных комбинациях эти специфические приметы *стихотворного* языка XVIII в. встречаются в самых разнообразных жанрах поэзии, вплоть до басни, бурлеска, и иных низких жанров. Есть в оде Ломоносова немало также черточек живого языка, которые в последующем развитии литературной теории были отнесены к «простым» стилям, но тоже без достаточных оснований, так как они возможны и в высоких жанрах, например, им. ед. прил. м. р. на *-ой*: *конской, багряной, странной, целой, грозной*, род. ед. м. р. на *-у*, например: от грозного *звуку*, от *реву*, стыдилась *сраму*. Нет в оде Ломоносова ни одного случая род. ед. прил. ж. р. на *-ья, -ия*, т. е. формы, которая для Третьяковского, повидимому, была обязательной. Нет сомнения, что сам Ломоносов считал язык своей оды «природным» русским языком. Но в то же время в оде отчетливо проступает убеждение ее автора в том, что для стихотворений этого рода необходимо пользоваться избранными лексическими средствами, отмеченными печатью великолепия и высоты. Вот почему в оде на ряду с полногласными словами: *голов, болот, берегов, полон*, встречаются, но вовсе, как видим, не в обязательном порядке, слова без полногласия, например: *брег, чрез, странам* (в знач. сторонам), *премену*. На ряду с *хочет* встречаем *отвещает*. В оде вообще много специфически книжных слов: *зрю, теку* (в знач. *иду*), *лику* (в знач. *собранию*), *держает, свирепство, отверзлась, десницу, презорство, перст, торжествование* и т. д. Все это слова церковно-славянского происхождения, но перешедшие в русский язык XVIII в., как его законный составной элемент, и сохранившие в составе русского языка оттенок высоты и великолепия. По меткому выражению К. Аксакова, это не были уже слова, употребляющиеся как цитаты из чужой речи, а слова, получавшие «права гражданства» в русском языке. Таким образом мы имеем здесь дело с руссифицированием некоторых запасов церковно-славянской лексики и фразеологии для нужд высоких, украшенных жанров русской поэзии. В той мере, в какой это руссифицирование оказывалось практически удачным и соответствующие слова действительно входили в повседневный обиход литературы и образованных классов общества, язык высокой поэзии *совпадал* с основными тенденциями складывавшегося русского общенационального языка. Но очень часто подобная руссификация оказывалась не полной, и многие одические слова, заимствованные из старой церковно-книжной традиции, останавливались в своем употреблении на той границе, которая отделяет речь поэзии от языка общеупотребительного. В этих случаях высокая поэзия оказывалась *препятствием* на пути к созданию общенационального языка и противоречила основным тенденциям его развития. Это препятствие преодолевалось в процессе перерождения самой русской литературы и роста в ней элементов народности. Но одновременно церковно-славянская традиция продолжала сохранять для литераторов середины века и другое свое значение, именно значение источника для построения *правил* и соблюдения внешних норм литературной речи. Упрек Третьяковского Сумарокову в том, что тот, «не имел в малолетстве своем... довольнаго чтения наших церковных книг», предвосхищающий известные положения Ломоносова, объясняется не только отсутствием у Сумарокова «обилия избранных слов», но также, что никогда не следует упускать из виду, отсутствием у него навыка «к правильному

- 72 -

составу речей между собою», т. е. прямо предполагает грамматическую сторону дела. Тот же Сумароков советует типографским наборщикам учиться грамматике и правописанию по «древним переводам греческих книг», но в то же время, и в этом он несомненно *позади* Третьяковского и Ломоносова, называет исчезновение аориста в русском языке «порчей» языка. Что касается Третьяковского, то в области морфологии, как видно из ранее приведенных цитат, он оставался на почве грамматической традиции и

в своем «Разговоре об орфографии»: отсюда его протесты против форм, вроде *известиев*, *селы* и т. п. Но от своей теории письма «по звонам» ему пришлось отказаться.

Таков был путь, на котором оказалось развитие русского литературного языка к середине XVIII в. Оставалось до конца осмыслить этот путь и дать ему надлежащее теоретическое обоснование. Это было сделано великим Ломоносовым в разработанной им теории трех стилей языка, которая изложена в известном рассуждении «О пользе книг церковных в российском языке» и своеобразно преломилась также в его «Грамматике». Но эти труды Ломоносова, имевшие поистине гигантское значение не только для истории русского литературного языка, но и для всей русской филологической культуры, были написаны и опубликованы уже во второй половине XVIII в.